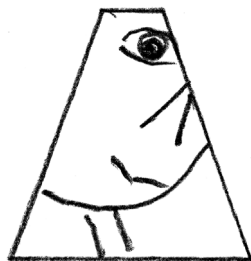


РУССКИЙ  
ГУЛЛИВЕР



*При оформлении использовалась роспись на барабане Арта Томпсона  
(Vancouver Island, British Columbia)*

*Издательский проект «Русский Гулливер»  
Центр современной литературы*

## **Юрий Соловьев**

Убежище. Книга стихотворений / Русский Гулливер;  
Центр современной литературы. — М: 2008 — 112 с.

Книга «Убежище» включает в себя стихи и поэмы Юрия Соловьева, написанные в 1993 — 2005 годах. Мифологические образы, исторические аллюзии, вечные сюжеты соединяются в собранной здесь лирике с острым переживанием распада традиционной цивилизации, устоев, отношений между людьми. Автор пытался пересоздать окружающую или воображаемую действительность при помощи слова, испытать власть, которой были наделены поэты древности, разрешить загадку порога, за которым вечность — или всего лишь прошлогодний снег...

ISBN 978-5-91627-003-7

- © В.Месяц, стихи, 2008
- © Центр современной литературы
- © М.Каганова, оформление, 2008
- © В.Сулягин, логотипы, 2008
- © А.Ростокин, фото, 2008

ЮРИЙ СОЛОВЬЕВ

# УБЕЖИЩЕ

книга стихотворений

Русский Гулливер  
Центр современной литературы  
Москва  
2008



## ВОЗВРАЩЕНИЕ БРАНА

Нынешний «мировой порядок» способствует оглуплению людей еще больше, чем все предыдущие. Вернуться на литературные кухни не получится, но там мы были сплоченнее и тверже, ибо обретали чувство локтя. Можно радоваться, что с нашим поколением дело не так уж плохо, но о судьбе ноосферы (например, поэзии) поневоле задумываешься. «Если людям надо, они сохраняют» — эта смиренная мантра Мандельштама помогла не одному поколению стихотворцев спокойно уйти в безвестность. Возможно, «во глубине сибирских руд» и сейчас сияют для самих себя чудесные самородки, готовые быть вот-вот погребенными под бездушными волнами истории и, до нас не доходит самое интересное, живое, уникальное, то, что разглядеть современникам труднее всего, но все в руках Господних. Как бы там ни было, но стихи Юрия Соловьева в безвестность не канули, более того, поставленные сейчас рядом со стихами кумиров постсоветского периода, ставят под сомнение привычную литературную картину.

Создание литературной репутации — отдельная статья и профессия, но на фоне опыта Юрия Соловьева значение игровых, иронических школ, ставших «визитной карточкой» 90-ых, отходит в тень, занимая все более скромное место. Стихи его еще не получили подобающего приема в нашей культуре (возможно, она к этому не готова), хотя бы потому, что по своей природе, духовному заряду и мастерству исполнения они слишком отличны от общепринятых продуктов постмодерна. Факт их написания стал для меня одним из немногих духовных оправданий переломной эпохи. Думаю, их публикация с некоторого момента стала бы неизбежной. Туман рассеивается. Есть надежда, что в нем вот-вот проступят и новые дорожные знаки, послышатся голоса, способные хоть что-то объяснить, если, конечно, нам это еще нужно.

*«Уверенность в потусторонней славе  
не свойственна участнику молчанья  
и, может быть, порочна для того,  
кто наблюдает эти формы жизни.  
...Им укоризна питательнее.»*

Не удивлюсь, если автор и впрямь не заинтересован в «тленном вниманье» и искренне удивляется обнаружив, что «и вот получается — ободряешь кого-то своим присутствием в речи». Он вряд ли принадлежит к обитателям башни из слоновой кости — время распорядилось с его талантом бесцеремонно, но он остался верен своему дарованию и не пошел на поводу у обстоятельств. Стоицизму, спокойствию, уверенности в своей правоте Юрия Соловьева можно лишь поклониться. Чувствуется, что за созданием этих стихов стоит нечто большее, чем обычное поэтическое самолюбование и самовыражение. В мире слишком много важного и неразгаданного, проявляющегося именно сейчас и нуждающегося в назывании и обозначении. Личное на этом фоне несущественно.

*«Кто еще почитает себя тем единственным Римом,  
тем зверем,  
что пока неразделен, сдерживает племена  
от распри, от ереси, что  
ограждает вселенную?  
...кто назовется  
населенной землей, замысленной свыше...»*

Кажется, люди забыли, что подобное существует: цинизм торгашеского географического передела заставил многих поверить в рукотворность бытия, более того, смириться с тем, что история делается далеко не чистыми руками. Мы наблюдаем за поведением «разделяющих и властвующих», привыкая к мысли будто наша судьба вершится не на небесах, а где-нибудь в Бильдербергском клубе. Мало кто относится к мирозданию с таким же безграничным доверием, а к обществу с таким же праведным безразличием как автор. Горечь — пожалуй, единственное, что выдает реальное отношение поэта к ходу вещей.

*«Костры не согреют, топор не решит,  
не скажет свирепый латинский гранит,  
зачем отправляться теперь на восток,  
песками, костями расшифровывать рок,  
и нежитью множить развалины стран,  
и дико кричать: Босэан!.. Босэан!..»*

Крестовые походы, кочевые набеги («сарматский череп на вид — беспечная рожа, воспоминание Азии, воля безволя»), обращения к Византии, «орел которой переплавился в крест», записки времен тридцатилетней войны, магический князь Одоевский и «пограничный немец» Герберштейн — участвуют в духовном поиске автора, но не в качестве архивных отсылок, а действительно, актуально, в виде живого отклика на явления сегодняшнего дня, хотя бы потому что его внутренняя жизнь происходит сейчас, на наших глазах. Любой стоящий поэт создает собственную мифологию — это можно сказать и об Юрии Соловьеве — но с одним существенным замечанием. Он не фантазирует, не лепит отсебятины, игра смыслов и звуков интересует его постольку поскольку, беспочвенность чужда ему, даже враждебна. Главная интрига этой книги как раз в том и заключается, что за предложенными текстами стоит прочная мировоззренческая основа, книжное знание, которое, пройдя через душу поэта, перестает быть книжным и догматическим. Автор ни в коей мере не иллюстрирует своего миропонимания, он живет им и оно также естественно для него, как и умение говорить. Обращение к некоторой первозданной традиции (думаю можно определить позицию Юрия Соловьева и так) во многом схожа с обращением к древности вообще. Именно в прошлом предчувствуются тени более совершенных цивилизаций, определены законы духовности и сокровенного знания. Мне трудно представить себе честного перед самим собой художника, знакомого с культурой древнего мира, и стоящего на позициях прогресса. Продолжающееся из века в век оскуднение духа, утрата преемственности поколений, связи с природой, переход философии и литературы на популярный уровень, все, что принято называть кризисом современного общества, несмотря на кажущуюся объективность процессов, вовсе не означает того, что мы должны принимать их как должное. Поэзия Юрия Соловьева тому подтверждение. Бунт, крик, неистовство обличений нерационально. Нужна ежедневная подвижническая работа, смирение, терпимость, способность называть вещи своими именами, поиск самых простых слов и формулировок, поскольку только они способны быть восприняты читателем, отвыкшим от многозначности и глубины. На мой взгляд, вольно или невольно, автор с этой задачей справляется. В практическом применении это — вопрос стиля.

*«Такая памятка дана,  
изданье, древнего древней,  
его держаться, как корней —  
беречься. Дальше мгла одна,  
и люди следуют за ней».*

Стихи Соловьева лаконичны, сухи, лишены образной красочности, уводящей от сути дела. Каждое слово, каждая строка призваны работать. Проходных моментов «взахлеб» в этом тексте не существует, — попросту не позволяет графика письма. И пунктуацией автор пользуется по назначению — он не разглядывает слова, любясь множественностью смыслов их соединений, ему нужно быть понятым — такое простое, но почему-то редкое теперь качество. Все экспериментируют, не ставя себе целью достижения результата — и это стиль творчества и жизни, а Соловьев берет готовые формы и как бы стеснительно выставляет их напоказ. Книга написана за несколько заходов (о чем свидетельствуют даты написания стихотворений), но плодотворность этих вдохновений не выявляет ни поспешности, ни обаятельной небрежности, которые всегда простительны в подобных случаях. Наоборот афористичность некоторых стихов говорит о серьезной работе над словом: удивительно, что ему удалось записать эти откровения настолько быстро и точно. Обращения к фольклору и сказке приводят к канонической, единственно возможной форме, как оно и должно быть, например, в народной песне. «Я вчера с петухом сошлась, а под утро змеем снеслась, и по мне что князь, что язь, что под мышкой серная мазь».

Замечательны ритмические переходы в пределах одного стихотворения, прием используются сейчас многими, но у Соловьева это получается с той правильной резкостью, уловив которую хочется согласно кивнуть. Основной корпус стихотворений написан в нейтральной, немного мрачноватой интонации, избегающей пафоса и какого-либо надрыва. На этом фоне с небывалой пронзительностью смотрятся редкие «автобиографические сюжеты», по-хорошему «трогательные», благодаря тщательно подобранным деталям, реальным и вымышленным. Таково стихотворение «Памяти Багиры», посвященное девушке, покончившей жизнь самоубийством и схожей в своей беспомощности с плюшевой игрушкой в руках у автора: оно не принижено до житейского уровня, а сохраняет метафизическое напряжение, словно речь



идет о «разумных светилах» или «человеческих числах». Таинственность колдовского действия и очарование странного детства особенно хороши в «Куколках»:

*«Когда стемнеет и забудутся имена,  
женский голос запоет куколкам о подземных путях.  
Голос сложит свои волокна на манер соломенного столбика,  
выкормит куколок, и оденет их. И почти оживит  
снопики и метелки, загодя вязанные —  
к временам, когда перестанут выкапывать корешки  
и отливать фигурки,  
потому что свечной воск сильнее воска болванчиков,  
и подобия осели прахом в душе».*

Верлибры (ими написана примерно половина книги) — жанр более сложный и говорящий о сочинителе гораздо больше, чем метрический стих. Так вот. У Соловьева он предельно функционален, а в лучших случаях строится на уровне сообщения (вести). Пресловутые прозаизмы и дневниковость обошли автора стороной: он передает именно то, что сказать необходимо, ни больше — ни меньше. Здесь главную роль играет не импровизация, не узорчатость, не искусное чередование слов и пауз, и даже не звучность высказывания или «обмирщение речи», — автор просто вербализует свою мысль, которая вряд ли могла быть выражена иным способом, чем посредством поэзии.

*«Но именно их, потому что  
дома их пусты,  
но именно их, потому что  
их слух до сих пор безразличен и чист,  
но именно их позовут  
и спасут, и покажут им.  
Только б они захотели.»*

Факт существования поэта неумолимо предполагает наличие тяжбы с самим мирозданием (не путать с тяжбой с жизнью), вопрос лишь в том, насколько высоко поднята планка в этом споре. Свободолюбцы и политические диссиденты отдыхают — «открывший эту книгу, посчитал бунт ангелов единственным событием» — испытать противоречие материи и духа на своей шкуре куда серьез-

нее. Столь же утомительно наследие первородного греха и страшного суда (его автор именует утешительным). Однако, несмотря на приметы времени, он старается не страшать читателя почему зря, сводя проблему к емкой образной формуле:

*«Что может быть радостнее такого заката  
и карающей длани над утомившей толпой?  
И почему бы миру теперь не стать долиной Иосафата?»*

Книга состоит из четырех частей (как времена года), ясных, прозрачных, композиционно оправданных. «Реликвии», «Медное море», «Город без памяти» и «Оракулы» — самостоятельные величины, составляющие единое целое. Вообще книга выглядит очень продуманной, законченной, выстраданной, если хотите. Даты тоскливого безвременья под стихами смотрят вызывающе — они несут что-то большее, чем отметка о завершении работы или графическая законченность — именно поэтому я заговорил о поэзии девяностых. «Времена» — автор постоянно обращается к ним, словно сравнивая культурные пласты человеческой истории с пустоватым воздухом современности.

*«Слова и времена — вот приговор,  
все остальное только варианты  
осуществленья приговора.»*

*«Глубина моей памяти невелика,  
словно год неполный я помню  
семь последних лет, а раньше будто и не жил.»*

*«Так получилось, что я позабыл много больше,  
чем было написано на роду.»*

*«Я проживаю времена несмело,  
почти не побывав во временах.»*

Древность, «замковая гора», «цитадель», «замшелое и сводчатое лоно Великой Матери» становятся единственным убежищем, где еще можно сохранить связь времен. «Ибо ты был убежищем бедного, убежищем нищего в тесное для него время, защитой от бури, тенью от зноя; ибо гневное дыхание тиранов было подобно буре против стены».

*«Наползает на нас материк из нетающих плит,  
обращает нас в древность и студит в нас гордость и норы».*

Враждебность людей к вещам, обладающим неопознанной глубиной, к любому древнему опыту, мистической практике или строгой философии – поразительна и на первый взгляд необъяснима. Обычно от такого творчества стыдливо отмахиваются, стараются его не замечать. Именно поэтому «моя пузырька шкура на кострище Царя Петра». Испытание невниманием – более изощренная практика. Так происходило с «Цитаделью» Экзюпери, традиционализмом Генона, антропософией Штайнера и т.д. Я слышал, что в свое время предпринимались попытки придать военному трибуналу наследие Ницше. С бытовой точки зрения это можно объяснить инстинктивным нежеланием людей усложнять себе жизнь лишним знанием, утраченной способностью к вдумчивому чтению, привычкой пользоваться готовыми ответами. С другой стороны, очевидна заинтересованность «профессионалов» – на определенном фоне их творчество обесценивается и сходит на нет. Но гораздо более правдоподобным мне кажется то, что сакральное знание подтачивает основы нынешнего уклада, принципиально поверхностного и существующего лишь благодаря отвлечению масс от интеллектуальной и духовной деятельности. Колосс на глиняных ногах чувствует опасность преемственности культур, допуская на рынок урезанную или упрощенную информацию, которая и без того тонет в общем якобы неконтролируемом потоке. Поэзия Юрия Соловьева на некоторое время оказалась задвинутой на второй план из-за того, что показалась кому-то темной и дискомфортной. Она действительно выходит за рамки чистой лирики, опустившейся до фиксации нюансов частного существования, и даже за рамки – светской поэзии. По своей природе она несет в себе некоторую сверхзадачу (даже идеологию, что для нашей расшатанной литературы факт небывалый). Идеологию, способную отсеивать и объединять.

«Возвращение Брана» – один из ключевых текстов этой книги – основан на кельтской легенде о путешественнике Бране, оказавшемся на райских островах, уставшем от бесконечного блаженства и пожелавшем хоть одним глазком увидеть родину. Если он ступит на родную землю – рассыплется в прах. Так оно, уввы и случилось.

*«Я на родине был всего-то досужей басней,  
рассказом, сказкой, участью, что прекрасней  
любой другой — и любой же другой злосчастней.*

*Я рассыпался в прах, чтобы череп мой бедный служил  
землякам талисманом, обителью тайных сил...*

*Но теперь слова не слышны, берега во мгле,  
и только невнятный шепот ползет по земле,  
да в любые края вольно полететь золе...»*

Замечательный образ «нашего безнадежного дела» — гораздо более убедительный в своей перелетной романтичности, чем свинцовый «водопровод, сработанный рабами Рима». Конечно, эта поэтика не могла родиться на пустом месте. Имя Юрия Стефанова (именно его Ю.Соловьев считает своим учителем и неоднократно обращается к его памяти в своих стихах), объясняет генезис его творчества. Я тоже воспользуюсь случаем выразить благодарность «магическому невозвращенцу» и «созерцателю незримого» за столь яркого ученика, и с печалью отмечу, что собеседников таких в наших столицах теперь не сыскать.

*Вадим Месяц*

## *І. реліквіи*



Страшны языковые времена.  
Я раздвигаю корешки – и вижу  
расплавленные буквы и слова,  
меж бездною и бездной – только сеть  
еврейской азбуки или германских рун,  
или глаголицы неведомой крючки,  
черты и резы. И зеленый страж  
двенадцати архангельских ворот  
не смотрит в мою сторону. Вхожу  
в замшелое и сводчатое лоно  
Великой Матери. А дальше – ничего,  
безмолвие, ни тьма, ни океан,  
а просто – словно бы «не бысть ничтоже»,  
как в летописи в некий год пустой.  
Все так. Закрытые глаза и пустота  
перед сетчаткой, позади сетчатки,  
пустой и бесконечный коридор,  
который и не коридор, и кончились слова,  
и мрак, и свод обрушился, и мне уже не выйти  
ни к языкам, ни к временам...

1993



Бесцветная прядь жематийских болот,  
припухлость и русский болезненный рот —  
вот все, что я вспомню, и все, что останется мне.  
Беспечная поросль от неких, не знавших границ,  
создание узеньких улиц, широких страниц,  
что мало мне виделось въяве, но чаще — во сне.

Здесь странная связь. Что в крови голубой, что в словах —  
великая радость. Но больше — забвенье и страх,  
тропический рок и астральные злые углы,  
и ранняя темень, и пласт плодородной золы.

А ты — меж корней, но укрыться тебе не дано.  
И тускло мерцает в Европу глухое окно.  
Под жирных причалов безмолвие век изнемог.  
И солнце болтается в небе, что твой осьминог.

1992



Тишайшим небом разговор не начат  
о мраке, самом первом из чудес.  
Отшельники заполонили лес,  
впустую о полуночном судачат.

Их держит круг из камня и травы,  
светила движутся по каменным просветам,  
путь разведен по сторонам и метам,  
колеса скрючились, окаменели львы,

свинец созвездий, тусклая коса  
хрустит костями в мире чресполосиц,  
и медлит меднорукий змееносец,  
тринадцатый, пустая полоса.

1995





Время ссорится из-за объедков,  
но что значат месяц и год,  
если бунт безымянных предков  
мои жилы в ночи порвет?

И припомнит уроки, обеты,  
и возложит вину и срок,  
и заставит читать приметы  
в злобном воздухе, как меж строк,

в тряске, словно под флейту Пана  
к потаенным входить словам,  
за охотою окаянной  
по снесенным нестись головам.

И заставит меня заткнуться  
многим множеством острых вещей,  
и законом — извечно тянуться  
по тоскливой тропе палачей.

То ль топор, то ли пуля-дура,  
то ли пытошная пора,  
и моя пузырится шкура  
на кострище Царя Петра.

1993



От зеленой пучины спасенья нет,  
волн тяжелых тяжелый звон.  
Собирает силу темных планет  
меднохвостый демон Дагон.

Лапы плавающих на глубине  
небо хлопают по краям...  
И вдобавок мы заблудились во сне  
и таскаемся по морям.

1995



Неживая влага недужных рук,  
незаконная вязь у недужных снов,  
ты забудься, забудь запереть засов  
и проснись на первый свиный звук.

Влага капля за каплей сомкнется в слог,  
он совется в тропу, в перепутье пут.  
Пронесут. Не спрашивай, что пронесут —  
пронесется вопрос в переборе ног,

в перестуке капель и звоне подков,  
в скрипе спиц на колесах в густых лесах.  
Ты ищи себя в чаще, в чужих глазах,  
в молчанье или в обрывках слов.

Не в полных словах затаился ты,  
не сеть глаголов — устав камней.  
Прячься, иль с первым лучом костеней,  
иль черной ночью сочти черты

на еле видных стволах дерев,  
на еле слышных всхлипах птиц,  
на лицах стариц, отроковиц,  
захлебнись сединою, вмиг постарев.

В неживых пространствах найдется нить,  
зреем, корнем выползет на ладонь —  
и корчуй, изводи, разводи огонь —  
нежить в нетях, но нынче тебе не жить.



Князь Одоевский раздувает зеленый огонь  
В своем Одоеве, прячется одвуконь  
в камышах, утверждая, что это — объезд  
подвластных крестьян и разных таинственных мест.

Князь Одоевский перепутал слова, все книги съел,  
был на острове Патмос — князя варили в котле,  
и князь состарился, пЕрепел перепЕл,  
и пришла старуха гадать ему на золе.

Тебе, говорит, князь,  
не путь, а коновязь,  
ты дальше стогов не лазь,  
а сиди, распутывай вязь.

Я вчера с петухом сошлась,  
а под утро змеем снеслась,  
и по мне что князь, что язь,  
что под мышкой серная мазь.

Эх, не масть, думает князь,  
да откуда взялась эта мразь,  
эта изморось да роса,  
да плешь, что изъест леса...

А старуха ему твердит —  
зуб один, да прочно сидит,  
что гранит, что хризолит,  
что монах, что содомит...

Не грусти, что состарился, князь —  
на тебя разевают пасть...

Князь Одоевский блюл посты,  
поутру подстригал кусты,  
парк вгоняя в голландский вкус...

Говорил, что сам он индус,  
что живет девятый век,  
что друг его — царь Ватек,  
и, когда они с ним умрут,  
не зарюют их, а сожгут.

*1993*



Едет, едет кошка верхом на зайце,  
она глаза отводит всем, кто ее видит,  
полная луна над нею сияет,  
полная луна топчет ей дорожку.

На поляну выскочил верховой заяц,  
трава на поляне вровень с дальним лесом,  
кому трава приходится славною кумою —  
не выходит ночью, не встречает кошку.

Погоняет ловко, светит глазом зайцу  
всадник хвостатый, куст укропа в лапе.  
Тихо, ветер дремлет, прах не подымает —  
проезжает кошка через лес дремучий.

Реку переплыла, по селу промчалась,  
вылетает в поле, как заправский рейтар,  
не закаплет дождик, не чихнет младенец.  
На колючем поле исчезли заяц с кошкой.

А дальше в деревню клубок покатился,  
беленький клубочек, маленький да ловкий,  
кто б к нему ни вышел — любого подденет,  
если побежишь — все равно догонит...



Утомленные солдаты –  
нам несносны наши латы,  
мы свидетели Гекаты,  
побежденные в бою.  
Вниз проложены ступени,  
мы теперь в смертельной лени,  
обескровленные тени,  
ждем владычицу свою.

Что приходит с темнотою,  
награждает немотою,  
неизбежной пустотою  
пролетает над землей.  
Знахарь ею тело лечит,  
серебро под воду мечет,  
или вечному перечит,  
окурившись коноплей.

Все мы в зеркало отлиты,  
свиты, лунные гоплиты,  
плечи сдвинуты, как плиты,  
тлеют тусклые мечи.  
Корень водного ореха,  
да осиновая вежа,  
меж лопатками прореха –  
потаенные ключи.

Только нет домой возврата,  
бесполезна наша трата –  
крепко держит нас Геката  
за стеной своих болот.  
Повисают низко птицы,  
ледяные голубицы,  
и ржавеют в теле спицы...  
Тот, кто не жил – не умрет.

*1993 – 01.09.1997*



Это бог Меркурий с копьём в боку  
погустевшее небо мутит,  
ненароком ставит лыко в строку,  
в темноте словно вор свистит,

на закорках несёт пелену судеб  
и себе оставляет суд,  
и не делит север на кровь и хлеб,  
и не ждёт, пока поднесут.

Сиволапый спутник семи ветров,  
суматошный кормщик, лопарь,  
тот, кто студит лосиный седой остов  
и леса обращает в гарь.

Старый сом не замает стальных сетей,  
но прорехам здесь нет числа.  
Да и где уж теперь соберёшь костей  
и вестей, не сгоревших дотла?

Сколько сделано там, где кипит смола,  
где из сел выжимают сок...  
Я сползу по доске своего стола  
и один побреду на восток.

1993



## Письма из шведского лагеря. Тридцатилетняя война.

*Ю.Н. Стефанову*

### I.

... видишь ли, господин Арчимбольдо оставил немного сюжетов:  
осень, зима, покровитель садов, дама в цветах...

Я не шведский солдат, чтобы судить об этом человеке —  
трубки холста в ранце, в обозе лежит  
книга, сшитая из ослиных шкур, из палимпсестов,  
из тех листов, что содержали заклятья на урожай,  
секрет девяти узлов, матерой бескормицы, испанского  
золота и соития со змеей — все соскребли в одночасье  
ножницы овчара...

Сапоги из воловьей кожи болтаются в стременах,  
дороги сохнут быстро, кричат вороны,  
на ветках качаются кроаты, богемцы, венгры,  
их лица обращены к селеньям, из которых они некстати  
угоняли скот, забирали девок к кострам, увозили пиво и снедь.  
Редкое небо позволит вот так повиснуть в пространстве.  
Нас оно подгоняет брести непонятной дорогой.  
Генералиссимус запил, руки дрожат, стрелки  
на карте волнисты, и наши ряды  
изогнулись, послушные бреду далекого штаба.  
Авангард поутру натолкнулся на польских гусар,  
а позже рейтарин хвалился хохластым трофеем.  
Сарматский череп на вид — беспечная рожа,  
воспоминание Азии, воля безволя.

Север северу рознь, мы давно не держим оленей,  
ворванью лишь растапливаем камин, а пивом  
празднуем наши победы, но победы не часты —  
мы трезвый народ.

## II.

Туле, ледяная страна, где Кеплеров призрак,  
голову плащом укутав, на Луну отправлялся.  
Матушка его раззадоривала — не много ли  
тебе науки, сынок, мирской,  
поучись у чертей, полетай, хоть ты не испанец,  
и телом не сух, и демон под тобой закряхтит.  
Вот, гляди, вылетает из жерла Геклы  
проводник по лунным каналам и башням,  
по строительству и пустоши вожатый...

В серой шкуре заточен счет звездам,  
в сером свитке смиренны дороги,  
и писец заделался читакой,  
позаимствовал твои глаза и руки...

Кеплер писал, что во времена смуты  
он решил заняться простецким баснословьем  
и вожатого во сне увидел...

Днями шли мы вдоль неясной границы,  
и в дремоте я прочел весь трактат  
о лунной географии, да еще пару лишних страниц.

Со времен фараонов соколы  
царили над северным царством,  
и ко двору Императора их доставляли,  
под полюсом изловив.  
Рука моя затекла в ловчей перчатке,  
и клубочек глаза натер.  
Надо бы посмотреть, как поменялась  
планида и готово ли варево,  
и не пора ли сниматься с места...

## Ш.

Под ливской мызой к нам переметнулся  
какой-то бородатый московит,  
одет был как поляк, но говорил,  
что верю он добрый лютеранин...

Но вот пошли дожди, и часть людей  
отправилась на вечные квартиры.  
Их зарывали в стороне, и старый пастор  
твердил заупокойную молитву.  
Счастливые, они преобразились –  
на третий день меняет облик тело,  
а на девятый истлевают сердце,  
проходит сорок дней – и остов лишь  
останется среди комочков глины,  
а нам с тобою превращенья ждать  
придется долго. Колбы я забросил  
еще под Лейпцигом и долго бил по ним  
прикладом мушкетона, выли псы,  
но я уже не обращал на звуки  
внимания. Какой-то капитан  
жалел стекло, а я подумал, что  
не выварить мне косточки бессмертья...

Григорий, перебежчик-московит,  
мне говорил по-польски, что коты  
содержат в сердцевине тот же плод,  
который ищем и в войне, и в мире тщетно.  
Но по порочной склонности Григорий  
свел разговор к простому воровству,  
а вскорости устал болтать, и день  
он завершил на розовой хозяйке  
трактира. Мне же показалось,  
что московит не кончил превращенья,  
что путешествие его весьма занято,  
и вряд ли, что он добрый лютеранин.

## IV.

Этим летом, когда война разгорелась снова,  
шел флот по рекам и переправы  
воздвигались, солдаты искали брода,  
таскались по округе, у пастора причащались,  
над рекой, провожая лодки, щипали лютню  
и щипали псалтирь пальцы, жадные до щипков.  
Какая это страна? Мимо прошли, качаясь,  
семеро слепцов: «Какая это страна?»  
Терялись  
обозные мудрецы им ответить — пропала карта,  
лазутчик похитил, но разве  
за рябью военных значков различимы  
холмы и овраги по ту и эту  
стороны горизонта? Григорий, который уехал  
в Стокгольм, сказал напоследок:  
«За шеломянем еси...»  
Но для себя решил  
я когда-то, когда в квадрате палаток  
четвертовали лейтенанта-драгуна  
за неудачный побег к невесте,  
что мы сами себе земля, чернозем,  
перегной сырой, зеленоватый,  
тленный, покуда тленное не истлеет...  
Каркнул ворон, запахло в воздухе сварой,  
и я возрадовался, как де Борн.

## V.

Когда мы бродили среди леса, отбившись от арьергарда генерала, забыл, как его, набрали на селенье — два-три дома, рыбница — местная шлюха, мельница в миле, бесы под колесом, за кустами стена, древний след, народы, навроде кабиров или пеласгов, от которых осталось лишь извращенное имя, воздвигали ее во славу своим болванам. У рыбницы были тощие ляжки, но пышные волосы, и пела она колыбельную песню:

Опять затеплилась война,  
и стены нипочем  
не сдержат тех, кого страна  
казнит параличом.

И только долгий вид равнин  
за лесом и рекой  
поведают, кому ты сын  
за гробовой доской.

Но лес сгорел, ушла вода,  
и воздух задрожал.  
Висит безвидная звезда,  
а мир и тих, и мал.

Грибницы высохли, родни  
не сыщешь никогда.  
Ты вспомни слово и усни,  
несчастливая звезда.

Поутру у меня кровоточили десны,  
я заваривал хвою в чаше для пунша,  
потом притащили мельника — он молчал,  
а ему говорили, что он колдун и прохвост, что он  
изводит солдат своим бормотаньем.  
Когда прижгли ему темя, он  
выплюнул синий язык на пол подвала.

Повесили мельника — и ушли.  
А село горело за нами. В овраге  
подыхала рыбница с банником между ног.

Когда мы присоединились к войску маршала N,  
дошли слухи, что в Вестфалии заключили согласие,  
а в Англии обезглавили короля,  
поляки увязли в Московии, а москвиты  
вышли к Персии и Китаю,  
Литва приняла католичество, наш король  
приказал бить китов в заповедных шотландских водах,  
японцы закрылись, а португальцы открыли землю  
у двух порогов малой реки, на полпути к земному раю...  
Новости расходились, словно дороги на перепутье.  
В лазарете всю ночь перед смертью  
барон из Штирии вскрикивал: Параклет!..

## VI.

Так мало нужно...

Я сидел среди двора и складывал вместе  
лучинки, скорлупки, камешки, перья,  
пыль валами лежала здесь и там,  
за плетнем грохотали телеги, стучали копыта  
в звонкую землю. Я подбирал жуков,  
бабочек, червяков, я заселял ими  
домики из разного хлама, сидел в пыли...

Я отстегнул палаш и он был как Рипейские горы  
для бравого нового мира.

Потом затрубил рожок...

Когда я мочился на остров Утопию, вдруг  
вспомнил забытое слово, тебе  
навряд ли я сообщу его, только безумец  
доверит слово бумаге, но я его вспомнил.

Как только

мы окажемся возле рутенских границ,  
я отдамся на волю рока и не вернусь  
в наше уютное королевство.

## Седьмое письмо

... и вот меня арканом подцепил  
казак, я задохнулся, словно умер.  
Когда очнулся, то вокруг увидел  
какой-то лагерь, тысячи костров.  
Меня делили и бросали зернь,  
и выиграл какой-то человек  
с зеленоватым цветом кожи и глазами,  
напоминавшими ланцет. Тот человек,  
манджур крещеный, знал, куда меня  
определить. Мы мчались на восток.  
Все было, словно бы у Тубервиля —  
засыпанные станции, пути  
безмерные, разбойники, деревни...  
Мы дважды пробирались через горы,  
шли лесом, а потом — почти пустыней.  
Стихии тут перемешались, я служил  
манджуру, сколько мог —  
чай подносил, читал по карте,  
чистил пистолеты, кормил коней.  
Мы добрались до третьих гор, и мой хозяин  
хотел мне перерезать горло, но  
я прохрипел ему тогда о слове.  
Он спрятал нож и начал вдруг расти...  
Но хуже было то, что сам я стал  
вращаться в его взбухающую тушу —  
он втягивал меня, молчала воля,  
сознание держалось, только тело  
размешивалось в зелье, холодело  
и медленно выстраивало плоть  
иную. Мои бедные монады  
делились и летали за границей  
другого мира. Словно ни к чему  
в том мире на тончайших волосках  
подвешены весы, они клонились  
ко мне, а в заменившем небо  
пространстве плыли головы — одни



как бы отрублены у мавров чернокожих,  
блестели дико белыми глазами,  
другие красные и яркие, как свет.  
Они кружились, им не достало  
лишь снега, чтобы падать вниз, но там  
нет тягости обычной, существо  
так безболезненно и так непостоянно,  
летает, постигая внешний край.  
Я убедился – мир для королей  
еще не вырос, и сосуд скудельный  
опять рассыплется в неведеньи, и тот  
барон из Штирии не зря звал Утешителя.  
Нефритовая барка ушла за солнцем.

*16 – 18.04.1996 – 1997*

## Тютчев

*Чей прах, чью память роют корни их.*

*Ф.И. Тютчев*

Сотворенный на манер серпа,  
чудо-холм в пятнадцати верстах  
от поместья. В зареве костров  
майской ночью не сыскать голов,  
в пламени высматривают день —

там, где утро станет на порог,  
а над утром — месяц, лунный бог,  
странный стержень, страннику привет,  
свет из неких неподвижных лет,  
тот, что вековую темень ждет.

Соком вскормлен потаенных трав,  
сам топлёный травяной расплав,  
талый воск, листва иконных лат,  
лучик-еловец, и у палат  
враг, смиренный ветром и водой.

Предок, войско призванный пасти,  
долго медлил капище снести —  
под конем катаются, вопят  
орды бледнолицых бесенят,  
слезы точит долгополый дяк.

Спрячет руки — свяжет узелок,  
по лазури поплывет рожок,  
поле красное задвигается под пылью,  
жезл пожалован, а с ним — венец и крылья.  
И сложились ратные пути

там, где версты скрыли новый холм,  
наметен, как будто помелом —  
в чашу с полутрупною землей.  
Это холм подземный, не земной,  
никому не обойти его.

Там детинец, ставленный от бед,  
детище глухих татарских лет,  
и дичает камень там без рук  
делателей. Сник кузнечный стук,  
кожухом покрыт, не слышен звон.

Дед там виден, что ходил послом  
и прослыл словесным мудрецом,  
ладили с ним немцы и князья...  
Вязкая семейная стезя —  
заблудился в родственной крови.

Прибредет зеленый человек.  
Или это черный человек?  
Так бывает, ночью черед  
сочиненных блещет, как слюда.  
Только под холмом глаза кипят,

как в котле. Зеленую траву  
свили во церковную главу  
и покрыли, словно грозный царь,  
клобуком, окрест раскинув гарь.  
Все Николы спят по деревьям,

по деревьям вверх ногами спят.  
Жутко в стенах, а наружу взяты  
тот, кто из кусочков в полночь шит,  
вскормлен и под трубами повит.  
Что еще привидится впотьмах?

Зыбь земная пожирает нас,  
и земля полна кипящих глаз.  
Где стратиг и верный стратилат?  
Сослепу на паперти стоят,  
и струится ладан по дворам.

Спасся тот, кто встретил татарву  
и землей не сделался во рву.  
Этот и теперь еще живет,  
и вода струится у ворот —  
это постоянная вода.

Привязали к вещи птице трут,  
и пустили, и пожара ждут,  
а пожечь-то зарятся свое.  
Поискать священное копьё  
разбрелись когорты по лесам.

День как грош, зажатый за щекой,  
спрятан был в кострище за рекой,  
и над ним прошел тяжелый град.  
Стал в краю обычай и уклад  
сну подстать, и край травой зарос.

И последний холм построен был  
в храме, как светило из светил,  
узкая тропинка к небесам,  
упражнение внутренним глазам,  
и молчанья выкован доспех.

Жизнь уже давно прочнее стен,  
прежнему не сыщется взамен  
ничего — немногие слова,  
да и те пустили на дрова,  
и дымок руками развели.

*1994 – 1997*

## Militia Templi

Я видел их тени у главных ворот...  
В тот час из болота луна встает,  
и псы забиваются в норы свои,  
и, как подо льдом, застывают ручьи,  
и чертит по тучам крылом нетопырь,  
и ярмарку порабощает пустырь,  
и только в воде, как в постели своей,  
во сне изогнулся серебряный змей.

Я видел их тени у главных ворот...  
Меж явью и сном отыскался им брод,  
и клином, наметом, заклятым копьем  
неслись они в ночь настоять на своем.  
И скорбны их лица, и бледны плащи,  
вокруг — только хлябь, бурелом и хвощи,  
и рог захрипел посреди трех дорог,  
и шепчет священник про Гог и Магог...

Я видел их тени у главных ворот...  
Когда затянувшийся проклятый год  
бесстыжую жатву свою собирал.  
Я видел голов желтозубый оскал.  
Я слышал их вой, но не шел их тропой,  
когда они звали идти за собой.  
И помнил — не время, не время еще  
покрыть свои плечи их бледным плащом.

Я видел их тени у главных ворот...  
Железные пчелы из мертвенных сот.  
Костры не согреют, топор не решит,  
не скажет свирепый латинский гранит,  
зачем отправляться теперь на восток,  
песками, костями расшифровывать рок,  
и нежитью множить развалины стран,  
и дико кричать: Босэан!.. Босэан!..



## *II. медное море*



... хочется мне, чтобы  
миновав врата смирения,  
встретил я там шероховатый пол,  
а не гладкий,  
как на вокзалах —  
последних наследниках византийского стиля.

Устроители Царьграда, хранилище  
всех трех добродетелей,  
изыскатели порфира и цепей, -  
разговорчивые рынки, на которых спорят  
об осьмом члене Символа веры,  
уплыли по белым водам за столпы Мелькарта,  
а в кольце  
падали Рима второго нас кормит  
барахлом своим Истамбул,  
и осман  
запирает тряпье, словно проливы...

*03.07.1996*





Верно ли, что Константин Великий  
расставлял трофеи в Царьграде,  
городе, опуханном парой волов?  
Земли этой раньше коснулся плуг, чем калига  
легионера, у которого перед глазами  
орел переплавился в крест.

Мы заняты делом. Нам, вероятно, нашепчут лары и маны,  
особливо последние, лакомки, кто из коней ипподрома —  
не тех, за которых венеты режут прасинов, если  
иной промедлит, иной обгонит — нет,  
речь идет о медных конях, может быть даже  
всадниках — только который из них заключает  
тихое имя города, города за бороздой...

*Октябрь 1996*



Там, где родная кровля, вода темна,  
давит свинец небес, воздух дрожит,  
жители говорят — была весна,  
но времена стоят, как надежный щит.

Прохожий не наследит — дороги теперь пусты,  
тонкие ивы колышутся у домов,  
дикая трава, недорубленные кусты,  
брошенная земля, остатки костров.

Луговой сустав запирает воду на ключ,  
путешественник выбирает окольный путь,  
вспомнив, что дома каждый камень горяч,  
и окна зашторены, и маятник не столкнуть.

И все не так — роща на том берегу,  
заводь безрыбная, дождь на исходе дня  
разбивает сон и смывает следы на бегу,  
рыбаки греются у огня.

Ветки удочек замерли, ветер идет стороной.  
Верно, сом затаился невдалеке.  
Ничего, только воздух почти ночной,  
и мертвый старик на лодке проплывает вниз по реке.

26.05.1996

## Птицы осенью

Утром не плывут уже серые утицы к отмели,  
трудно держаться берега, листья относит вниз,  
шар из прутьев — сорочье гнездо — на ветвях осиротел,  
птицы кружат над сухим былъем, ищут прокорма  
или умершего зерна.

Вот одна, расправляет плоский хвост, черный с зеленым  
отливом, и крылья — поменьше, и летит в молчаньи —  
молчаливая сорока над сухою травой.

Выше деревьев — синицы, просят в руки, стучатся в окна,  
страшится ночлега, к холодам  
задержаны в небе.

Надо всем — древний ворон, крылья его медленны,  
словно воздух,  
он смирен, без свалок и драк отдыхает, голоса не подает,  
знает, как высоко плавает смерть  
темным пятном.

*15.11.1996*



... в глиняном ложе и облик истлел,  
тело ушло в отложения, мел,

плавает где-то во влаге ночной  
плотик души и молчит над тобой.

Талой водою наполненный дом  
выметен будет с земли помелом,

а за околицей гриб-боровик  
зерна положит тебе под язык.

Ветер не станет служить-сторожить  
там, где клубок обращается в нить.

Бабушка там ковыляет без ног,  
пыль опустилась, и воздух оглох.

Вот и остатки кладут в уголок,  
снова мальцов замыкает поток.

*14.08.1996*



Тканью чужого дома подлатали эту ночь,  
птицы умолкли, только псы голосили,  
комнаты не узнавал, двора не было,  
окрестности умирали под взглядом,  
солдатами заставлены берега потаенной реки.

... Веришь ли, что она выйдет ко мне?  
Веришь ли, как колокол на колокольне,  
что с третьим ударом жилец отлетит?

*06.11.1996*



*Раз, два, три, четыре,  
Меня грамоте учили —  
Не читать, не писать,  
Только в куколки играть.  
Я куколку разорила,  
Меня маминка побила...*

Народная песня

Когда стемнеет и забудутся имена,  
женский голос запоем куколкам о подземных путях.  
Голос сложит свои волокна на манер соломенного столбика,  
выкормит куколок, и оденет их. И почти оживит  
снопики и метелки, загодя вязанные —  
к временам, когда перестанут выкапывать корешки  
и отливать фигурки,  
потому что свечной воск сильнее воска болванчиков,  
и подобия осели прахом в душе.

Забавы ради приготовленное — обиделось, затаилось.  
Травяная кумирня шлет послев за словами.  
За оградой рыщет разоренное туловище,  
таилище, скорлупка, шалая куколка,  
шелестит под ногами, припомнить пытаясь  
волю своей пустоты.

14 — 16.12.1996



Кажется, я замечаю тебя во сне,  
но проще проснуться, чем призрак схватить за пояс —  
тебе не проклюнуться в явь, а сон не упомнишь...  
Родня расплетает косу твою,  
держит тебя в светлице ясною гостьей,  
птицы тихо кричат — мешает ограда — тихо кричат  
и застывают среди ветвей.

Но если бы ты не исчезла в глуби холма,  
а взяла бы меня за язык, прошептал слова  
о том, что запахи долетают к нам из страны представленья,  
в вызволительном деле наставив меня,  
то нашла бы и плоть, и кровь,  
и покров над собой, и пламя костра,  
и дождь над рекой и над лесом, и стеной  
наилучшей огородилась бы, и дом заимела б  
между твердью и твердью.

*12.06.1996*



Я возвращаюсь на имя твое, как на пепелище,  
как на запах крови слетаются бесы,  
как над грешником собираются слезы.  
Мне суждено бродить по изгибам придуманного,  
письмена забывать среди шепотов,  
затаивших ответ.

Наше разное прошлое умерло,  
но вдруг оно вызывает в свою пустоту,  
заклинает, ставит в круг, замыкает в чертеж,  
именами стреножит и приказывает,  
бормочет квадраты слов, и согласно  
каждому из названий я превращаюсь —  
из дерева в камень, из камня в звук,  
и во что-нибудь там после звука.  
Возвращенным становишься, перебивав всем на свете.

Но имя твое — пепелище, и там  
слезы просолили почву. Надел твой свободен  
от всходов, от суеты пахаря  
и межевых побоищ.  
Но мы, быть может, увидим  
в играх тленного  
большую тишину.

*30.03 – 08.06.1997*





Во поле ловчий в кулак засвистит,  
любимая, будет из камня огонь,  
и пусть остановится сердце твое —  
к холоду холод, капля ко дну.  
Орешник вплел себе ветер в кусты,  
носит под сердцем его, а ты  
свою принесешь этой ночью смерть —  
вспомни, тоже ведь ангел она,  
озябла возле тебя и теперь  
руки согреет в тебе, отдающей  
что-то впервые — во веки веков.

*30.08.1997*



Не колыхнутся колокола, боя не слышать,  
часы умолкли, не отзванивают времена,  
в беззвучии движется перемена минут,  
выгружая на станциях тяжкую кладь —  
и в квитанциях заикаются письма,  
и почтари в тихом страхе бумаги жгут.

За окном нет туманов — только подтаявший лед  
всхлипнул под последним из рыбаков,  
вода оставляет дома, деревья растут,  
по какому-нибудь календарю наступает год,  
и прохожий пытается — кто ты таков,  
и поспешает в участок. Так и живут.

*14.02.1997*



Каждая новость преступна, ведь здесь тишина  
поселилась, пространства не потревожив,  
не совершив жертвы демону места,  
не испросив ни дождя, ни суши,  
с моста не соскочила, но сочла ступени —  
ведь лестницу приставлять услуга ее вековая,  
утвердила взгляд в перекрестьи древа живого,  
объяснила мрак ясного,  
о сумеречных лучах поведала ,слов  
не составляя, напомнила, отлучаясь:  
«Ум молчаливый удержит меня...»

*02.02.1997*



В сумеречном мире жизнь в самозабвении,  
внешнее дело, видение смиренных  
жителей, замешанных в том же самом  
растворе, хоре, шепоте подсказки,  
В возгласе — отражение перед закатом,  
как в спокойной воде, не образа, но образца,  
науки остаться неспрошенным, воли пройти привычной дорогой,  
счастья не выделиться из толпы:  
«Нераздельное, корочка обороны,  
голос, заточенный наглухо,  
укройте...»

03.02.1997



Годами бродяжил вокруг пустоты,  
влаге не угодил, до огня не добрался,  
читал о коне из праха, хранил черты  
не лиц — наваждений, наукою темноты  
занимался.

И видел себя устремившимся на восток,  
в путешествие к новым героям, камням  
словесным, источающим скудный сок  
на зеленые руки, в корм коням.  
И на шее затягивал поясок...

*06.02.1997*



Кто еще посчитает себя тем единственным Римом,  
тем зверем,  
что пока неразделен, сдерживает племена  
от распри, от ереси, что  
ограждает вселенную?  
Своеволие растирает на камне и волю, и тело  
в порошок,  
ядовитое снадобье изготовит  
и пустит гулять по краю.

Но кто назовется  
населенной землей, замысленной свыше,  
кто оградит нам образ,  
чтобы было вольно отыскать и подобие —  
в сумраке света по голосу тишины?..

*07.02.1997*



*Артуру Медведеву*

Мы в июле себе подготовим декабрь,  
мы – тоска, мы остатки тоски  
по Азии строгой.  
Что есть сил мы сжимаем века,  
но пружина ржавеет от мертвой воды.  
Мы ступаем безвидной дорогой.  
И заколками годы в прическе души мировой,  
эти годы – отмычки, незаметные сторожа.  
Мы глупее разумных дев,  
их глиняных плошек –  
пламени в нас как и масла...  
За рубашку не купишь ножа.  
Наша кожа остатки букв растеряла  
в каменном поле,  
семена легли при дороге –  
что же еще заключить из последних событий,  
из предпоследних времен?  
Побарахтавшись в вечно текущей реке,  
мы уселись за чечевицу,  
промолвив, что все уже было,  
все было, все было...

*18.08.1997*



Даже не смертью, мимоидущие,  
даже не смертью — они оставляют себе  
тлен ее, оставляют рубаху свою,  
ближнее к телу — станут они.  
Они забыли родивших, рожденных,  
зубами скрипят: в поте лица, в поте лица,  
попались, попались...  
Бродят в низине реки, делатели,  
зова им нет, и слух их мертв,  
и в глазах вековая зима,  
и плоскость реки молчалива для них.  
Они ожидают улова,  
они появились пожить и исчезнуть,  
исчезнуть, пожить —  
поесть и на пищу пойти.  
Они ожидают улова  
часами, годами — на леске  
они или рыба?  
Но именно их, потому что  
дома их пусты,  
но именно их, потому что  
их слух до сих пор безразличен и чист,  
но именно их позовут  
и спасут, и покажут им.  
Только б они захотели.

28.08.1997





Чья душа исправления ищет в теле моем?  
Почему на закат неспеша мы идем,

и тропинка проложена почему на закат,  
и звери стреножены, и нас они не съедят?

Там дядька мой, ждет-пождет богатства в лесу,  
но закатной тропой и его за холмы понесут,

на развод его пустят, на дерево и на грибы,  
и кузнец за околицей волосы плавит судьбы.

Отстучит по извивам и нитку остудит в ключе,  
нацарапает имя, как будто на новом мече.

*12.08.1997*

## Памяти Багиры

Не накопив ни слова, отбрасывая тень  
в глухие закоулки —  
проходит день за днем  
сквозь форточки и двери,  
и трещины ползут  
по хрупкому молчанью.

Осенний воздух скрыт  
подвохом в жарких складках  
июля. Узнаешь  
нерадостные вести,  
которым шелуха  
любая новость. Внове  
шум тростника — безмолвью,  
дождю — железный скрежет,  
дневные тени — снам.  
Но больше не разделят  
особые из многих  
год, как краюху хлеба,  
и солью не посыпят  
его холмы и дыры.

Встревая в цепь пораньше,  
угаданные знают  
все сроки на веку.  
А здесь места толкуют  
и так, и сяк, лозинкой  
отметив лоскуток  
постройке или грядкам —  
что раньше отзовется  
в немом ядре земли.

Но я учить не буду  
чужих домов условность,  
механику квартир.  
Там новое тоскливо,  
там прежнее забыто,

там старое помянут —  
и сберегут глаза  
лишь куколки, машинки,  
колесики, пружины,  
воск, краски, иглы, пламя,  
как будто плоть и кровь —  
лелеют их владельцы.

И нежат, и хранят  
священную игрушку,  
и слабыми руками  
руки тормозят.

*10 — 28.07.1997*



Снится ей пожилой англичанин  
непроходимыми зверем ночами,  
и шелестит чешуей по шее  
хвост позабытой навеки тени.

В небе парит перевернутый голубь,  
слуга англичанина моет колбы,  
во сне потихоньку сыреют стены,  
всему предназначен конец мгновенный.

Ей не запомнить разбойное пламя,  
зеленый плащ или ворона в раме,  
или кошачьей луны испытанья,  
или монету в своем кармане.

Только пройдет по пустым переулкам,  
душу отправив за голосом гулким.  
Но голос заткнется, память свихнется,  
она за дверью моей проснется.

*26.08.1997*



Прекрасней птицы будет сон,  
но кто заснул, а кто остыл,  
своих не вспоминая сил,  
потоком тихим отнесен  
в края разумные светил.

И наступает вечный час,  
покой недлящихся времен,  
его глаза со всех сторон,  
но он не замечает нас,  
он для нетленных сотворен.

Ни кольца розовой змеи,  
ни век отдавшей нас земли,  
ни холод вскрывшихся морей  
не будут никогда сильней,  
чем тяга верных якорей.

Такая памятка дана,  
издание, древнего древней,  
его держаться, как корней —  
беречься. Дальше мгла одна,  
и люди следуют за ней.

*07.08.1997*



На крыльях мертвые  
парят над городом,  
им тихий ветер  
колышет бороды,  
а по дорогам  
канавы, надолбы —  
там прячет житель,  
как за оградой,  
свой страх и праведность  
на годы долгие,  
он крепко помнит, что спрятать надо бы  
себя — подальше,  
в утробу плотную,  
стручком личинкою —  
на зиму долгую,  
на лето краткое,  
на осень мокрую,  
на черный час —  
к Христову дню.  
Ведь идет мужик с топорами,  
он идет, таяся, дворами,  
топором звенит о топор  
и поет: разбой да разор!

28.07.1997

*III. город без памяти*



О словесном времени суток  
столько снов, но впустую сны,  
их впускать в дневной промежуток  
бесноватые обречены.

Между тьмою и тьмой тоскуют  
у несветлого солнца в плену  
и молчанье свое пакуют  
в пронцаемую пелену.

И шныряют в просветах ткани  
насекомые страшных снов,  
и скрипят безлошадные сани,  
проезжая во мраке дворов.

*07.03.1998*





Скотник, убитый молнией,  
и утонувший пастух  
пасутся теперь за околицей  
и пугают старух.  
Им до второго пришествия  
бродить, а не лежать.  
Посмертного путешествия  
поскрипывает гать  
над старой могильной трясиной.  
Ветер играет осиною,  
если умеет играть.

1998

*Es zittern die morschen Knochen*

Поэты восемнадцатого века  
почти всегда изображали время  
как будто бы огромный механизм.  
Он двигался, работал, он скрипел,  
грозил косою, стрелою, шестернями,  
мял кости бесконечным поколениям  
и новых человек получал.  
Поэты восемнадцатого века,  
наверное, ни капли не страшились  
своих замысловатых порождений,  
писали новые и очень долго жили —  
по крайней мере, кажется теперь,  
что долго жили, что имело смысл  
их увлеченье временем, их страсть  
к блестящим инструментам векованья,  
свинцу и меди вечных перемен.  
И вот теперь накоплены металлы,  
и наскоро присыпаны словами,  
и, к слову, бесконечно тяжелы  
скопленья этих кос и шестеренок.  
И слово тронуто, и сыплется металл,  
и где-то звон стоит, а здесь лишь хруст  
остался слуху, и крошатся кости  
последние в последнем поколеньи,  
которому пообещали мир.

18.08.1998



Я не знал, как плавают рыбы во мгле,  
я чувствовал дно, когда ноги были в тепле,  
я чувствовал даже, как в реку впадает ручей,  
многое помнил о лете уже в феврале,  
затаившись под плотным настилом зимних ночей,  
утешаясь тем, что летом я был ничей.

Ожидал не то чтобы бед, но от прежних лет  
свист пастуший, осенний рожок и холодный свет  
изловить мне хотелось, и барином я бродил  
правым берегом, лесом, и вспоминал совет  
знатоков подобной охоты, властей и сил,  
знатоков из тех, кто в нашей округе вовек не жил.

Местный житель уже позабыл имена зверей,  
он устал называть и засушил сухарей,  
он дождется черного часа, езды под уклон,  
дождется тусклой поры обложных дождей.  
Часто хочется стать таким же, как он,  
так же дремать и видеть такой же сон.

*31.08.1998*



Полезная осень пришла — и живет,  
включив себя в правильный круговорот  
явлений привычного рода  
как время плодов и приплода.

Короткие ночи закончились здесь,  
на землю упала воздушная взвесь,  
и небо звезда просверлила —  
залог постоянства светила.

Луна приближается, рядом плывет,  
кажется медленный лунный полет  
во тьме цеппелину подобным,  
тревожит мотором утробным.

Фигуры сплелись из подземных паров  
под пение мертвых уже комаров.  
Как будто со дна потаенной реки  
всплывает присутствие вечной тоски.

*08.09.1998*

## Лампа

### I.

Лампа — глаза на нее не сузятся.  
Во мраке мирок, и ты лампе союзница,  
лампочка с головою утицы,  
ладишься в хлыстовские богородицы.  
Только кружения нет ни на пяточку,  
дружба над кружкой, а прежнее — в форточку.  
Ночь застеклили — вот приключение.  
Ночью в постели с тобой приказание.  
Спрошено наказание долгое,  
и это, наверное, самое малое.

*12.09.1997*

### II.

Длиннохвостая лампа горит над рекой,  
висит вместо звезд над горькой водой.  
Воздух горелый во тьме обнажил  
дыры остывших светил.  
Закаленный волос танцует в стекле  
и многое значит во мгле, и в числе  
воздушных сокровищ рассыпан и скрыт,  
недавшийся клад в малый шарик отлит.  
Отправленный смерти серебряный лом  
таится, горит и дрожит за стеклом.

*22.09.1997*



Там было, как в покойницкой — стена  
голубоватая, железный стол, нечисто.  
Скрипела дверь и дуло от окна,  
как в дудку козлоногого флейтиста.

Хозяйка поделила этот кров  
с тенями и огромной черной сукой,  
и самозванец, столп пяти углов,  
в тяжелых снах их наградил наукой,

как проще сочетать и разделять,  
как протыкать, и врачевать, и ладить  
со здешними и пришлыми, а мать  
приемная заштопала им память.

Играли сквозняки и лился спирт,  
и улетал, не смачивая глотки.  
Препятствие, как Актеон и мирт, -  
холодный океан, где тонут лодки

большие, тонут малые суда  
и рыжим заревом расцвечен тусклый угол,  
где ходит рябь и взбухшая вода  
болтает восковые тушки кукол,

пробитых спицами, а рядом сохнет след  
на угольках, луна качает стремя  
пустующее, и болотный дед  
над пламенем размачивает семя.

15.10.1996

## Семеро (цикл сонетов)

### I.

Ночь тихо пролетит на помеле,  
и не успеешь натерпеться страха,  
наутро ждет несвежая рубаха,  
еда и жизнь в единственном числе.

Пустое, не в единственном. Из праха  
и птаха, и разводы на стекле,  
невидимое тело у монаха  
и пламя на нетвердом фитиле.

Какую вещь искать и почему,  
кого весь век сопровождать в дороге,  
разыскивать в чащобе и дыму?

Ты чувствуешь, ты замер на пороге,  
тебе пока неясно самому,  
но сердце замерло, как будто зверь в берлоге.

*01.07.1998*

### II.

Нестройный ряд моих недолгих лет:  
их осаждают ветреные тени,  
их подчиняет дух вселенской лени,  
их не стреножат цель или обет.

Лета мои не сложены в ступени,  
они всего лишь отсвет, а не свет,  
одежда ветхая, когда ты в них одет,  
когда темно, когда дрожат колени,

когда согреться мне не суждено,  
и забредают призраки в окно,  
когда пространство за ночь отсырело,

когда над крышей повисает страх.  
Я проживаю времена несмело,  
почти не побывав во временах.

*13.09.1998*

## III.

Нестройный ряд моих недолгих лет,  
нестойкий ряд, усталые солдаты.  
Размытые и слившиеся даты  
могильщик не упрячет под берет.

Утешиться, что времена не смяты —  
и получить грядущее в ответ,  
укрытие и тысячу примет,  
чтоб в камень обратились циферблаты.

Таков чертеж окрестностей моих,  
в них не хватает места для двоих,  
в них колбы и сухая рецептура

распределили жизненный раствор,  
и ворожат, а робкая натура  
крадется в темноте, как будто вор.

*13.09.1998*

## IV.

Что разбирать, кем сыграно молчанье,  
как сферы колебались под перстом?  
Неслышно пенье в воздухе пустом,  
закон звучащий умолчало знанье,

задумавшись над брошенным листом,  
которого безмолвно содержанье.  
И любопытство, вечное желанье,  
уснуло где-то в мареве лесном.

Не разобрать вовеки письмамена.  
За прялкою ущербная луна  
свивает людям разные ущербы,

и свет ее оврагами скользит.  
Во мраке сохнут треснувшие вербы,  
чей корень тихой смертью перевит.

*14.09.1998*



## V.

Под деятельным ныне колдовством  
воображаем вечные причины  
и прячемся в убежище личины  
с почти что нереальным торжеством.

Но каждый день — чужие именины,  
там буквы водят дружбу с божеством  
и ожидают, что за Рождеством  
им ни одной не сложится кручины.

Невольной формы вольные князья  
само собой к ним явятся в друзья —  
овладевать стихиями природы

научат их, научат узнавать  
как умирают разные народы  
и как из пашни вырастает рать.

*14.09.1998*

## VI.

Простую память вряд ли сберегут.  
Так не живут, но вечно возвращенье,  
как странное сиротское стремленье  
избегнуть навсегда домашних пут.

Игра теперь — почти сопротивленье,  
и, колпака лишенный, дремлет шут.  
Куда его во сне перенесут,  
какое впрыснут в воздух испаренье?

Но жаловаться нас готовит плен  
ландшафта и несвежих перемен,  
и пасмурное обаянье власти

над мелкими частицами чудес.  
И мудрено нам избежать напасти  
во время приближения небес.

*14.09.1998*

## VII. (1)

Мой византийский мир восьми икон,  
еще одна – литье под старой лампой.  
И ветер листья сыплет на балкон  
своей холодной многопалой лапой.

Здесь ветви остывают за стеклом,  
хватаются за воздух и за время,  
сентябрьский год отправился на слом,  
и новое уже надето бремя.

Подумаешь, пологие места –  
ведь их ландшафт не стоит превращения.  
Дождаться бы Великого Поста,  
великого ромейского творенья,

где свет и холод этой вот поры  
преддверьем станут замковой горы.

## VII. (2)

Мой византийский мир восьми икон,  
еще одна – литье под старой лампой,  
и ветер бродит с четырех сторон,  
листву сгребая многопалой лапой.

Нас погребли пологие места,  
но их ландшафт не стоит превращения,  
в нем тешится родная пустота,  
бежавшая ромейского творенья –

где свету обустроено жилье,  
где камень оживлен и разукрашен,  
где луч спешит в убежище свое,  
под своды тихих и холодных башен,

и где тревоги ветреной поры  
преддверьем станут замковой горы.

03.10.1998



Я мало что знаю о стихосложении —  
правил не помню, названия не вспоминаю:  
птицею птица и дерево деревом были всегда  
для меня. Не различить их имен.

Смело назвать божество божеством я не смею,  
часто сомнительна мне природа духовных существ.  
Горних стяжать обитателей — слишком нечист,  
выходцев адских увидеть — слишком от горних далек.

Времени мало, а вечности много для слов.  
Как я могу понимать что-то в стихах,  
если короток век, мною нажитый, если оставшийся мне —  
позже, пожалуй, совсем небольшим  
покажется — что же о лишнем судить?  
Правила — их подберут, птиц озаглавит лесничий,  
деревья мастеровой разберет, когда доберется до них,  
слова же, наверно, истлеют еще не родившись —  
и это понятно, когда бы не внутренний говор,  
не приговор.

*15.09.1998*



Озера темные, усталая листва,  
последних птиц чертежник, острова —  
наследство зноя, холодом песчаным  
начинены, летучая трава  
бредет по колее маршрутом странным.

Я вспоминаю озеро теперь,  
там стылой сырости боится дикий зверь,  
там человек пугается могилы,  
там в глубине едва прикрыта дверь,  
где притаились неземные силы.

Магическая линза, водяным  
стеклом темнит, над ним струится дым,  
и неживое дерево повисло  
над этим монолитом слюдяным,  
где дни текут и пропадают числа.

Там плавают уснувшие жуки,  
утопленники-листья там легки,  
в среде, им данной в знак иного мира,  
там комары хранят свои рожки,  
идут соборы ледяного клира.

Законченное здание воды,  
зимой его заботы сведены  
к редчайшему и гулкому звучанью,  
когда пространство полонили льды,  
а люди не обучены молчанью.

*19 – 24.09.1998*

## Город без памяти

Заклученные в немощном времени,  
под пятою соблазна,  
слизанные языком  
горячим и жестким  
с узкой тропы, как с тарелки,  
забывшие все, что выше причесок —  
но с годами волосы делаются короче.  
Нас не различишь даже под страхом смерти —  
тихо скользим по своему Геенску,  
и лишь самый скользящий видит скольжение.  
Приходят во тьме существа наслажденья,  
обновляют похожесть, как будто  
плодят чертенят головой трудовой,  
первою из голов.  
Наваждение прочное здесь происходит,  
здесь производят вечные сны  
для своих и приезжих.  
Сказка конца разворована на запятые,  
они висят над калитками, как подковы,  
в тихих и бесполезных улочках,  
недоверчиво разбогатевших,  
где через три поколения  
соберутся пожить краткое время,  
соберутся, перебирая собранное,  
дверь отворить, опоздав навсегда.  
Не подсчитать, сколько нам остается,  
работникам двенадцатого часа.

*20.09.1998*



Прошлое прахом пустили по ветру,  
день не привыкнет к собственному лицу,  
время катится вечно под гору,  
а солнце катится по кольцу.

В эту пору земля — только забава,  
привязь для бестолковых тел.  
Изошла на зелень былая слава,  
и орел неправильный надоел.

*26.08.1997*



Сухое бобовое ядрышко стукнуло об пол,  
слово вывалилось из внутреннего стручка,  
позади слОва остаются развалины,  
от которых идешь, рассыпаясь,  
обернуться не в силах.

Ад — это неизбывная память,  
шелест и хруст сухих плодов,  
убранных и припасенных на зиму,  
незаметно съеденных в зиму.

Сколько их теперь по углам лежит,  
сколь заметны они, как обживают дом, замирая.

Их испарения, жизнь их впиталась в стены,  
или нас эта жизнь навсегда впитала,  
собою питая почти до конца?

Вот заблудились в пространстве дни,  
память просыпалась в подпол —  
и ожидает к себе.

*22.09.1998*



Декабрь награждает безмолвием реку и берега,  
в белизне засыпают деревья и травы, и крыши,  
острия ледяные дрожат, как в руке острога,  
ветер мчит по полянам, украден из северной ниши,

из гранитных хором унесенный на волю, кружит  
возле лунок рыбачьих и черных замерзших заборов.  
Наползает на нас материк из нетающих плит,  
обращает нас в древность и студит в нас гордость и норы.

По сусекам скрести и торить санный путь по вершкам —  
послушание зимнее, голос нестынувшей крови.  
Нынче жизнь не идет вопреки часовым молоткам,  
и за елью луна грозно хмурит старушечьи брови

и лицо свое кажет, где Каин дубину занес,  
и когда бы не тень, преступление б нас раздавило.  
И безносая гостя бредет на извечный покос,  
и лешак на пеньке тихо кличет родное светило.

16.12.1996



#### *IV. оракулы*

## Уроборос

И вот получается — ободряешь кого-то  
своим присутствием в речи.  
Заканчивается кольцо  
прежних случайных лет,  
изжеванных прямо с хвоста.  
Полагаешь, придут неслучайные времена,  
времена сухие и легкие,  
звонкие и сухие,  
не такие, как эти —  
и бежишь за добавкой, ведь мастер  
растворяет себя в жидком пламени,  
получается, в духе.  
Когда-то сквозь воду брели,  
сквозь зеленую воду смотрели:  
каково это, жить без времен?  
Четырех сторон будет мало,  
много больше сторон у света,  
а у тьмы — тьма и вовсе.  
Пообвыкли во внешней, казалось бы, влаге —  
без границ, позади все препоны, казалось.  
Пообвыкли... А после — уродами в банке  
проснулись, щека к щеке,  
и белесых ресниц бесконечно бесстрастная жизнь,  
и глазают зеваки в стекло.

Таковыми заставлены полки —  
звонкие и сухие,  
прочные, тонкие и сухие,  
как дрова нового века.

24.02.1999



Предсказание было куплено кровью  
козлиной, той, что из плошек хлещут  
мясники каждый день,  
но к пророчествам скотобои  
не имеют охоты. Впрочем, беда не в том,  
что кровь не волшебная —  
в том беда, что купили  
прорицание, будто козла, то есть жертву,  
на рынке, у ничтожнейшей деревенщины.  
И пастух сплутовал,  
где же видано, чтобы он не приврал помаленьку  
бездельникам-горожанам?  
Горожане ведь тоже хитрят —  
опилили монеты, в темноте подменили  
парочку зеленью непонятной  
утонувшей страны, сожженного города,  
небывалого некоего царства.  
Ну что же, купили —  
медную монету поменяли на блеющую,  
перед вопрошанием не постылись,  
пьянствовали до заката,  
даже траву щипали вслед за жертвой.  
Прорицатель-мертвец их бы всех перебил,  
омерзенье его, вдруг ожившего, переполняло.  
Только очень уж пересохла глотка,  
он и плел, прилебывал — и болтал, что попало.  
А теперь их будущее таково,  
словно его на козла сменяли.

12.07.1999





В этом доме не говорят о веревке.  
Стоят по углам запаянные сосуды,  
в которых маячат серые духи растений –  
лишний довод в пользу преступного воскрешенья,  
довод, который всегда под рукой.  
Попугай, оживленный нелепым искусством,  
чудо палингенезии, хозяина одолевшей,  
мастера воскрешать тела из костей и пепла, –  
так вот, попугай, пойманный, будто в силки,  
в здешнее тленное неумиранье  
(кто назовет задержку на свете – бессмертьем?),  
перебирает клювом колоду.  
Опытный человек мигом прочтет значенья:  
Умеренность, Смерть, Отшельник...  
Но мы догадались, что вЕдом  
лишь Висельнику странный порядок,  
по которому прошлым обрухали будущее,  
а настоящее только там и найдем,  
где не говорят о веревке.  
Однако, чересчур утомительно вспоминать  
многословную неразбериху истолкований  
брошенного так и эдак Таро.  
Тем более, что в большой бутылке,  
издающей по временам пророческий вой  
и перезвон, и шелест жидкости,  
в самой большой бутылке, под тяжелой печатью  
мы увидали хозяина – он висел, как живой,  
застряв в паутине искусственного эфира,  
и, слышали, подсказывал тихо  
попугаю по поводу карт.  
Одним словом, нечисть  
вела в этом доме себя бесчестно,  
перевирала игру и карты –  
о, конечно, гадательные. Даже они –  
все равно были надрезаны по ребру.  
Число же надрезов сосчитать оказалось нетрудно,  
человеческое число...

*июль 1999 – февраль 2000*



Часы твои покамест на ходу,  
шагают под неслышную дуду,  
шагают прытко маршевым солдатом,  
земным не наслаждаясь аппаратом,  
и даже не заметив, как мудро  
тебе пружины втиснуты в нутро.  
И всплески, и шуршанье, и покой  
покроются шинельною поллой.

Огонь опасный, безопасный свет  
потухших звезд и маленьких планет,  
всех шестеренок смазка и завод,  
что механический изображают год  
когда-нибудь неверно застучат –  
и заржавеет хитрый аппарат.  
Порежешься, а в ранке от пореза  
покажется болотное железо.

*28.07.1999 – 27.08.2000*

## Надпись на гримуаре

Открывший эту книгу, посчитал  
бунт ангелов единственным событием,  
заложённым в подкладку бытия  
как талисман, как деньги на дорогу.  
Открывший книгу тратит эти деньги  
безудержно, и книгу закрывать  
он не торопится. За мелочью любой  
скликает демонов и заставляет их  
готовить пищу, натирать полы,  
вредить врагам, гадать разнообразно  
о будущем. Несложные совсем  
пророчества таиннику такому  
любой простец, пожалуй, сочинит:  
о том, что заклинатель позабудет  
со временем значенье и звучанье,  
и красоту обыкновенных слов,  
оставив в памяти бессмысленных обрывков  
бессвязный сор, пригодный в колдовстве.  
Поселится потом наедине  
с желаньями, с хозяином желаний,  
рабочими желаемых работ.  
Затем послужит платою рабочим,  
пойдет им в снедь, на выпивку, жильем  
им станет и безропотно отдаст  
и запахи свои, и кровь, и голос.  
Все, что считается простым и тонким телом,  
душой, дыханьем, плотью, следом, сном —  
поденщиков невидимых добыча.  
Так поистрачен, открывавший книгу,  
возможно, даже объяснит себе  
великим замыслом ничтожные причуды —  
что этаким задуман, что иной  
судьбы ущербный слух не уловил  
в пещере гулкой предсуществованья.  
Рассудок, распадаясь, продолжает  
желать и успокаивать, желать...

Поскольку приучился лишь желать —  
И успокаивать, покамест не задушит  
Его уставшая от заблуждений вечность.

Простец такое ловко произносит —  
Он сам себе и бес и заклинатель.

*12.07.1999 — 5.2.2000*





Поход рыбарей по земле –  
к благородству неволи.  
Основатели новых семей вычитают себя  
из прежних окрестностей, родства,  
заслуг бесконечно прежних.  
Рыбоносцы и хлебоноши, вереницы  
всадников въезжают в ушко  
игольное.  
Годы процессий, чудес и коронаваний –  
местность истосковалась без власти.  
Но теперь земля недостаточно пуста  
для королей-рыболовов.  
Сегодня капли гремят о стекло,  
домики и жерди качает ветер,  
рвутся к земле тряпицы, веревки  
ставни, травы и ветви.  
Травы и ветви пылают в костре.  
Непостоянство стихий не натворит никогда  
материи для превращения –  
рассохся ткацкий станок,  
а игла инструмента ступает  
по чертежу,  
ушко иглы затекло,  
в нем свинцовая капля застыла,  
блестит, как Сатурн в представлении тех,  
кто знает Сатурн блестящим.  
Но искомая влага не дремлет – и тушит  
горючие камни домов.

*1.08.1999 – 27.08.2000*



Слова и времена – вот приговор,  
все остальное только варианты  
осуществленья приговора. Никогда  
не замолчать и не остановиться  
тем, кто повис на смертном колесе –  
или на древе жизни, если так  
звучит пристойней. Добродетель здесь  
почти неуловима, и она  
всегда принадлежит среде нездешней,  
которая, бывает, объяснит  
себя через пространство, человека,  
писание, – почти не убедив  
наказанных, однако ж обозначит  
пределы власти и начала смысла,  
и области молчания отметит  
рукой – в географических листах.

Как правило, в пустынных и безлюдных  
неплодородных каменных полях  
восходит урожай иного мира,  
и в суши орошен, и освещен  
во тьме, но мысленно –  
и смертным незаметно.  
Уверенность в потусторонней славе  
не свойственна участнику молчанья  
и, может быть, порочна для того,  
кто наблюдает эти формы жизни.  
Корыстны обитатели безмолвья –  
что пользы им от тленного вниманья,  
от здешней похвалы? Им укоризна  
питательнее. Годы не проходят,  
счет не идет, и слышен только плач,  
и стены ограждают этот плач,  
как будто око веки ограждают.  
И если ты не весь такое око,  
то плач – твоя отчизна и чертог.

18.03.1999



*Антону Нестерову*

Разве ты не бравируешь пустотою,  
разве ты не описываешь пространство  
словами географических карт  
и предисловий, не в силах  
не тратить всех этих слов понапрасну?

Голодные руки дань соберут с любого  
клочка бумаги, опередив глаза,  
слуху перебегая дорогу —  
руки болтливы.

Догадываешься, что самое странное в нашем деле?  
То, что его считают делом.  
Темны начала правильности,  
когда, избежав судьбы,  
следов пасомых, оставленных  
в оземленелой жизни  
(так говорил святой  
Григорий, епископ Ниссы),  
глядишь на новую участь,  
и веришь ей, но не в ней,  
и медлишь у входа.

*22.02.2000*



Волчьего пастыря тихий свисток,  
волчьего логова сумрак и тлен,  
волчьей тропой лежит на восток  
путь через белый и черный песок —  
путь на закат выбираем взамен.

Пастыря ловчий в лесах заменил,  
ставит силки и лелеет теперь  
сонмы вернейших охотничьих сил.  
Ловчий границы перекрестил —  
заперт и быстрый, и медленный зверь.

Прочь от окраины лапы несут,  
прочь не уйти по неверной звезде.  
Скоро в округе терновник зажгут,  
и заплутает во пламени плут, —  
кто же спасается сам по себе?

Ловчий покличет — и выйдешь к нему,  
тело оставив, как жаркий наряд.  
Выйдешь послушно в кромешную тьму,  
чтобы остаться во тьме одному —  
там сердце молчит и глаза не глядят.

12 — 20.06.1999



В этом позоре все  
излучает свеченье  
гнилостное. Свое  
только столоверченье,  
выбранное среди  
прочих оккультных практик.  
На очереди,  
вместо стратегий и тактик —  
бег подневольных дней,  
чайник и рукомоЙник.  
То, что в пещере своей  
не до конца покойник  
ты, не заслуга — мeсть  
веры и ритуала.  
Правило перечeсть —  
на это тебя не стало.  
Немощь наперечет  
ведаeт подчиненных,  
время перетечeт  
из емкостей полусонных  
в недреманный будто свет,  
перемежаeмый тьмою.  
Множество ложных примет  
не приведет к покою,  
но отчего же вдруг  
тарелками и свечами  
заперт родственный круг,  
как золотыми ключами?  
Было не сохранить  
ветхим сынам и кладбищам  
подлинную нить,  
которую тщетно ищем.  
Ничей потомок, ничей  
и предок во тьме кромешной:  
прерывистый тек ручей  
по руслу страны нездешней,

выныривал иногда,  
а больше сох и скрывался.  
Не предлагали года,  
чтобы я им сдавался.  
Сколько, а больше — каких  
в забвение положили,  
испепелили. Затих  
в виде космической пыли  
наш безымянный род,  
будто на мне закончен.  
Серенький небосвод  
был в эти дни непрочен.

*19.07.1999*



Реки змей и львиные пасти,  
темные небеса в дожде и ветре  
дождались вниманья прожих,  
устрашили глаза и окна,  
но когда отошло постепенно  
потрясение стен и почвы,  
то обсохли окна и взгляды  
остыли на полуслове.  
Нам по нашему злomu нраву  
лишь в дыму и дано проснуться,  
а в огне — на себя наглядеться.  
Люди — это сырое блюдо,  
несъедобное и такое,  
что, того и гляди, протухнет.  
Посему, полыхай, жаровня,  
где и скрежет, и пламя злое,  
поваров раскаленные лица,  
их ножей клинки боевые,  
их вертелов хищные жала —  
все для нас, словно карта в море,  
словно розга злomu дитяте,  
словно посох слепому старцу.  
Впрочем, многие оступились  
и на этой узкой тропинке...

*20.08.2000*



Призрачные леса подступают под самые стены —  
в сумерки, смыкаются в темноте,  
пропуская лишь мертвую звездную дрожь,  
шорох мыши в небесном мешке.  
Кромешное видишь сквозь щель,  
слышишь голос зеленого гостя, слова языка,  
от которого кровь не рождает души.

Там, где книга сгорает в ветвях, а книга другая  
под снесенною кровлей уснула в пыли стародавнего сна,  
остываешь... Но не навсегда приключение смерти.

*24.08.2000*





Замираю, смотри, замираю — но это душа  
по ночам мои кости грызет не спеша.  
От долгих моих тридцати одного  
года я изнемог, я в надежде на что-то,  
на себя, вероятно — не получил ничего,  
и даже не накормил собою водоворота  
прожорливого, того, что минуешь едва ль, но по странной причуде  
я его избежал, и теперь я не там, где люди  
в мои годы бывают — да, в общем, вдали от всего  
вечного, тленного я засыпаю во мгле  
кромешной, не ведая ни одного  
утешения в этом краю, в прародительском зле.

Видно, где-то еще будет слышаться ангельский альт —  
но повсюду труба, и на зов мертвецы прогрызут асфальт  
и потянутся длинной чредой в долину Иосафата,  
на утешный суд, где станут сами собой.  
Что может быть радостнее такого заката  
и карающей длани над утомившей толпой?  
И почему бы миру теперь не стать долиной Иосафата?

3.09.2000



Так получилось, что я позабыл много больше,  
чем было написано на роду.  
Потерял чужую дуду,  
оставил в земле руду —  
то ли кровь, то ли крицу — такую незрелую сталь,  
в синеве камней потерял черную смоль,  
белых камней крепостных благородную быль,  
редких синих камней золотую печаль.  
Картой сыграл — и по карте как-то прибрел  
к себе на крестины, там дунули на меня,  
там стал мне свивальником погребальный убор,  
и не было дня, чтобы душу мою не делил  
долгий перечень мест или признаков. Кроме того, дома-  
участники дележа. Но их ворота сгорят,  
и, глядишь, даже память о них прошла,  
ведь любой причудливый сон — лишь повод заснуть.  
Да и сколько еще пепелищу нас согреть?  
Сколько уже в белый свет разошлось тепла?  
Наши мысли такой же прах, как и наши тела.

*1.06 — 1.08.2000*





Слишком много вас родилось в эти годы,  
чтобы я тебя сразу вспомнил.  
Время – это наследие, а что нам досталось?  
Глубина моей памяти невелика,  
словно год неполный я помню  
семь последних лет, а раньше будто и не жил.  
Смерть моя родилась прежде старости вашей,  
а она, ваша старость, повсюду вышла на свет,  
ожидает уже не меня, всем овладев.

Вечность – наше наследство самим себе,  
если только не возжелать его раньше срока,  
но это – к слову...  
Прости, что не сразу вспомнил.

*11.10.2000*



Я разбил твою чашу о каменный столб,  
кровь моя очистилась от тоски.  
Я ни капли не пил с твоего лица,  
но то, что в молчаньи случилось со мной —  
отольется тебе. Литейщик уже бредет  
вдоль болота, из-за реки еле виден.  
Посох его запел, едва к земле прикоснулся,  
подковы его звенят, как колокола,  
созывая на панихиду приход.  
Кажется, тебе полюбился зной?..

Вспомни, ни дня при тебе не настало,  
только очень давно ты меня воровала из снов,  
но с тех пор я молился на ночь.  
Три года уже, как раскаленный клинок  
соскоблил твой запах с левой моей руки.  
Года не минет, как проступят на правой руке  
добрые знаки, и буду я волен, и буду  
видеть свет несравнимым с тобой.  
Если не вообще —  
несравненный свет...

29.10.2000



И еще один ненаселенный текст  
пуститься по рукам немногим  
бродить и умирать.  
Я могу догадаться, как его произнести,  
чтобы он послужил мне отмычкой в чужой душе.  
Я могу стать на границе, могу отдать  
око за силу и власть, чтобы смотреть потом  
сразу в обе страны, как в одни небеса.  
Я могу повиснуть на толстой стальной струне,  
получив взамен знаки, коня и престол.  
Провисев девять дней, провисев только девять дней,  
я смогу при свете дурачить людей целый век,  
а ночью их наказать холодной рукой,  
и каждый, кто отправится вслед за мной  
устанет лишь воскресать на манер светил.  
Я могу и не то, но никто не сказал,  
что для этого я рожден и разрешено  
мне исполнить мою же запись, словно закон.

*5.11.2000*

## Памяти Ю.Н. Стефанова

### I.

Когда, похожий на доспех, стальную руку  
для верности он сунул в темноту  
на переходе вечном, на мосту —  
он превзошел смертельную науку.

Но сны его сгорели на лету,  
а времена не доверяли звуку  
его шарниров. Плюнув на поруку  
времен и снов, он миновал черту.

Он в западе всегдашнем изнемог,  
когда востоком сделался итог  
всех поисков угла и пропитанья,

преображенный засиял чертог  
вокруг него, как стержень мироздания,  
и кто-то тихий полететь помог.

*16.06. — 15.07.2001*

### II.

Он даже не посол — не нами послан  
и не для нас. Он возвратился весь,  
как долгий змей, в свою первообитель.  
Ему не то что лучше, но привычней  
в неопикуемых краях бескрайних  
(бескрайних, бесконечных, безупречных) —  
не землях, нет. Молчанье навсегда  
там утвердилось, словно атмосфера.  
И он пойдет, как мой отец, один  
среди бесплотных сил, но будет знать,  
что означают странные проделки  
привратников — отец не знал об этом.

И вот он следует (пожалуй, прочен след —  
бессчетные ступни в него ступали)...

Знакомцев, как у каждого из нас,  
там больше у него. И вспомнит он,  
что значит спрашивать, как должно вековать  
за партой вечности — и получать оценки...

А между тем великий ветер ввысь  
несет его спеленутую душу:  
мытарств холмы, летейской переправы  
желтеет отмель — высохла река,  
и прочие четыре, и болото,  
и луг, и прорва, и треклятый пес —  
теперь все очевидно. И поток,  
что уготован, как венец, творенью,  
и чьи утопленники все мы понемногу...  
Теперь ему знакома эта местность,  
и самая правдивая из карт  
на первом же преподаана уроке.

15.07.2001

### III.

Непоправимый свет над ним,  
а он — как сигаретный дым  
и ветер, и вода.  
Кого же поминать худым,  
когда по стебелькам седым  
не отыскать следа?

Удержит что теперь его  
вблизи земного «ничего»,  
друзей, детей и жен?  
Вот он, служитель одного  
Единого, хлебнул всего —  
и в небе отражен.

Сухой серебряной луной  
он был меж нас, и сам собой  
вернул свой ломкий мир  
за цепь холмов, в ночной покой,  
где вороватой простотой  
пренебрежет эфир.

3.07.2001



## Возвращение Брана

Я рассыпался в прах, лишь коснулся земли —  
ведь родина смертоносна. Мои корабли  
песком упали на дно, корабли из ольхи.

Я на родине был всего-то досужей басней,  
рассказом, сказкой, участью, что прекрасней  
любой другой — и любой же другой злосчастней.

Ну, а если кто дожидался у вспухших вод  
возвращения нашего, не умнее кажется тот  
караульщика старых пней и гнилых болот.

Я рассыпался в прах, чтобы череп мой бедный служил  
землякам талисманом, обителью тайных сил,  
чтоб досужий ведьмак над моей головой ворожил —

тормошил ее, кость натирал душистой смолой,  
поливал вином, язык пробуждал немой, —  
вдруг поведает череп, как правил страной?

Той, что легла за спиною ветра, стеною тьмы,  
где войско мое обрело причал, жен и очаг, где мы  
тосковали, в тумане почуяв родные дымы.

Женщина в тех краях душу мою прочла,  
сохранив от судьбы и тленья слова и тела,  
и в душу сама вошла, словно игла.

«Возвратиться нельзя, она говорила, земля сильна  
и свое заберет, ведь знает она одна  
для чего вы тронулись в путь, отойдя ото сна».

Но теперь слова не слышны, берега во мгле,  
и только невнятный шепот ползет по земле,  
да в любые края вольно полететь золе...

*31.10.2000 — 5.01.2005*



*убежище*

## Убежище

*Алексею Комогорцеву*

Из атлантических глубин  
всплывают тихие машины,  
полки израненных мужчин  
на берег сходят Аргентины.

И там, где цепь материка  
проглядывает из тумана,  
легла вселенская тоска  
на оба темных океана.

Унылы мирные моря,  
спят неразумные хазары,  
в неверном свете фонаря  
кружат изломанные пары.

Танцуют воины эсэс,  
играет Астор Пиацолла.  
Послевоенный мир исчез  
от музыкального укола.

Свет европейской старины  
проник сквозь тусклое оконце.  
На небо брошенной страны  
полночное восходит солнце.

Вождь доживает до седин,  
кружат серебряные птицы,  
за полосой зеленых льдин  
шуршат правдивые страницы.

И вот уже не повернуть  
вспять — опоздавшую планету.  
Тому, кто выбрал этот путь —  
семь жизней колесить по свету.

Нас голос выдает — и глаз,  
навек пятая колонна.  
И что останется от нас?  
Тяжелый вздох бандонеона...

*13.10.2005*

# СОДЕРЖАНИЕ

«Возвращение Брана», предисловие Вадима Месяца .....5

## I. РЕЛИКВИИ

Страшны языковые времена .....	14
Бесцветная прядь жематийских болот .....	15
Тишайшим небом разговор не начат .....	16
Время ссорится из-за объедков .....	17
От зеленой пучины спасенья нет .....	18
Неживая влага недужных рук .....	19
Князь Одоевский раздувает зеленый огонь .....	20
Едет, едет кошка верхом на зайце .....	22
Утомленные солдаты .....	23
Это бог Меркурий с копьем в боку .....	24
Письма из шведского лагеря. Тридцатилетняя война .....	25
Тютчев .....	34
Militia Templi .....	37

## II. МЕДНОЕ МОРЕ

... хочется мне, чтобы .....	40
Верно ли, что Константин Великий .....	41
Там, где родная кровля, вода темна .....	42
Птицы осенью .....	43
... в глиняном ложе и облик истлел .....	44
Тканью чужого дома подлатали эту ночь .....	45
Когда стемнеет и забудутся имена .....	46
Кажется, я замечаю тебя во сне .....	47
Я возвращаюсь на имя твое, как на пепелище .....	48
Во поле ловчий в кулак засвистит .....	49
Не колыхнутся колокола, боя не слышать .....	50
Каждая новость преступна, ведь здесь тишина .....	51
В сумеречном мире жизнь в самозабвеньи .....	52
Годами бродяжил вокруг пустоты .....	53
Кто еще посчитает себя тем единственным Римом .....	54
Мы в июле себе подготовим декабрь .....	55
Даже не смертью, мимоидущие .....	56
Чья душа исправления ищет в теле моем? .....	57
Памяти Багиры .....	58
Снится ей пожилой англичанин .....	60
Прекрасней птицы будет сон .....	61
На крыльях мертвые .....	62

### III. ГОРОД БЕЗ ПАМЯТИ

О словесном времени суток . . . . .	64
Скотник, убитый молнией . . . . .	65
Поэты восемнадцатого века . . . . .	66
Я не знал, как плавают рыбы во мгле . . . . .	67
Полезная осень пришла — и живет . . . . .	68
Лампа . . . . .	69
Там было, как в покойницкой . . . . .	70
Семеро /цикл сонетов/ . . . . .	71
Я мало что знаю о стихосложении . . . . .	75
Озера темные, усталая листва . . . . .	76
Город без памяти . . . . .	77
Прошлое прахом пустили по ветру . . . . .	78
Сухое бобовое ядрышко стукнуло об пол . . . . .	79
Декабрь награждает безмолвием реку и берега . . . . .	80

### IV. ОРАКУЛЫ

Уроборос . . . . .	82
Предсказание было куплено кровью . . . . .	83
Патефон . . . . .	84
В этом доме не говорят о веревке . . . . .	85
Часы твои покамест на ходу . . . . .	86
Надпись на гримуаре . . . . .	87
Поход рыбарей по земле . . . . .	89
Слова и времена — вот приговор . . . . .	90
Разве ты не бравируешь пустотой . . . . .	91
Волчьего пастыря тихий свисток . . . . .	92
В этом позоре все . . . . .	93
Реки змей и львиные пасти . . . . .	95
Призрачные леса подступают под самые стены . . . . .	96
Замираю, смотри, замираю — но это душа . . . . .	97
Так получилось, что я позабыл много больше . . . . .	98
Свет неопасный, почти что снег . . . . .	99
Слишком много вас родилось в эти годы . . . . .	100
Я разбил твою чашу о каменный столб . . . . .	101
И еще один ненаселенный текст . . . . .	102
Памяти Ю.Н. Стефанова . . . . .	103
Возвращение Брана . . . . .	105

### УБЕЖИЩЕ

Убежище . . . . .	108
-------------------	-----

Соловьев Юрий

# УБЕЖИЩЕ

книга стихотворений

корректор — Ирина Конникова  
верстка — Марина Медведева

Русский Гулливер  
НП Центр Современной Литературы  
119999 Москва, ул. Вавилова, 38

тел: (495) 159-00-59  
факс: (495) 234-31-63  
<http://gulliver.commentmag.ru>  
e-mail: a\_tavrov@mtu-net.ru

Подписано в печать 14.04.08. Формат 120x200.  
Отпечатано с готового оригинал-макета  
в типографии «Сhergy Ray»  
115114, г. Москва, 2-й Кожевнический пер., 12  
Тираж 1000 экз.